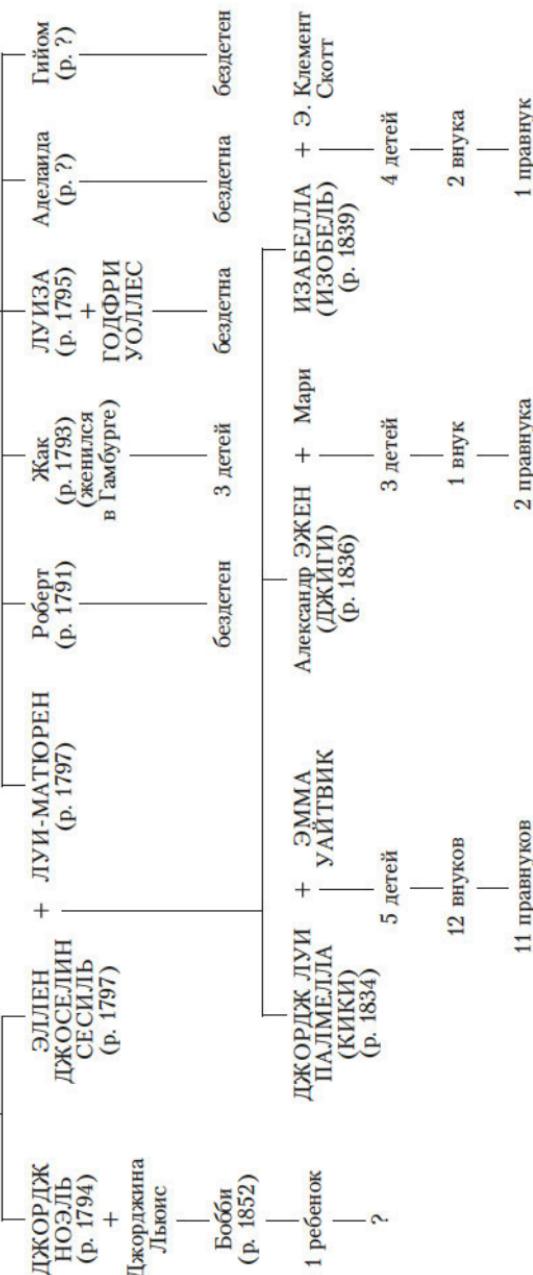


ФАМИЛЬНОЕ ДРЕВО СЕМЕЙСТВА ДЮМОРЬЕ

МЭРИ-ЭНН КЛАРК
(«приятельница» герцога Йоркского)
(р. 1776?)

РОБЕР-МАТИОРЕН + МАРИ БРЮЭР
БЮССОН-ДЮМОРЬЕ
(р. 1749)



У Эллен Джоселин и Луи-Матюрена 31 ныне здравствующий потомок

Часть первая

Холодным днем весны 1810 года щуплая двенадцатилетняя девочка с бесцветным лицом прижималась носом к оконному стеклу в одной из комнат величественного особняка на Вестбурн-плейс. Находилась она в спальне для прислуги, поскольку из остальных комнат вынесли всю мебель и странные люди, которых она никогда раньше не видела, шныряли по двум гостиным, указывали на столы и стулья, ощупывали грубыми, грязными руками позолоченные ножки кушетки из будуара, придилично вошли пальцами по богато расшитым портьерам. Она следила за ними с самого утра, на нее же никто не обращал внимания; никто не мешал бродить по комнатам и коридорам, смотреть, как суровый джентльмен в темном сюртуке привязывает бирки с номерами к стульям из столовой. В какой-то момент джентльмен ушел, но через несколько минут вернулся с двумя рабочими — в фартуках, с рукавами, закатанными до локтя. Джентльмен распорядился, чтобы рабочие вынесли стулья.

С исчезновением стульев вид у комнаты сделался странно непривычным. Потом пришел еще какой-то человек: он разложил все лучшие вещицы из стекла и фарфора на боковой консоли, расставил так, как ему казалось покрасивее, а после перенес столик в гостиную и поставил у стены. Стулья были составлены спинка к спинке в длинный ряд, картины же сняли с крючков и сложили стопкой на полу.

Девочку больно ранило бездушное отношение всех этих людей к материнским вещам. Ей уже некоторое время назад объяснили, что дом на Вестбурн-плейс будет продан,

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

а они с мамой переедут в другое место, но ей и в голову не приходило, что у них отнимут столы и стулья, стекло и фарфор и даже тарелки, с которых они привыкли есть. Незнакомые руки прикасались к знакомым вещам, ощупывали их одну за другой, и вот наконец образовалась печальная процессия, словно череда скорбящих на похоронах: из дома один за другим выносили крошечные трупинки, которые не знали слов прощания. Когда с привычного места над лестницей сняли позолоченные часы, девочка не выдержала, отвернулась и со слезами на глазах забралась наверх, в спальню для слуг под самой крышей.

Сколько одиноких вечеров скрасили ей эти старинные часы! Каждые пятнадцать минут они вызванивали нежную мелодию, которую она слушала, лежа в постели без сна, — и часам всякий раз удавалось ее утешить. А теперь она их больше не услышит. Скорее всего, часы окажутся у людей, которым не будет до них решительно никакого дела, которые не станут смахивать пыль с улыбчивого циферблата, а колокольчики заржавеют и станут фальшивить. Стоя на коленях, прижав нос и подбородок к стеклу, девочка впервые в жизни ощутила легкую досаду на мать, которая все это позволила.

Мир девочки утратил уютное постоянство еще в прошлом году, когда повседневная жизнь, про которую каждый ребенок думает, что такой она будет всегда, внезапно переменилась. Она больше не ездила каждое утро в фэтоне рядом с мамой по Гайд-парку в ряду других экипажей, они больше не наведывались в Ричмонд и не пили там портер с лордом Фолкстоном, который, бывало, измечрял ее наезднице хлыстом — подросла или нет. И пока мама ее смеялась, болтала, дразнила лорда Фолкстона и в своей неподражаемой манере шептала ему, прикрыв рот ладошкой, непонятные слова, от которых он покатывался со смеху, маленькая Эллен сидела тихо, точно мышка, надувшаяся на крупу, и наблюдала эту игру со странным, врожденным чувством неодобрения. Если взрослые вот так проводят время, то она не хочет иметь с ними ничего

БЕРЕГА. РОМАН О СЕМЕЙСТВЕ ДЮМОРЬЕ

общего; сама она предпочитала книги и музыку и жадно впитывала знания, которые мать полагала откровенно лишними для дочери, еще не достигшей тринадцати лет.

— Попробуйтесь, — говорила она подругам, слегка поводя плечами, с тенью притворного отчаяния в глазах, — мои дети меня уже переросли. Это просто жуть какая-то. Я по их меркам слишком молода. Они считают меня легкомысленной вертихвосткой. Мастер Джордж шлет мне из своей школы нотации, точно дряхлый профессор, а Эллен благопристойно складывает ручки и интересуется: «А можно мне, мадам, кроме французского, изучать еще и итальянский?»

Все начинали хохотать над Эллен, и девочка вспыхивала от смущения; впрочем, про нее скоро опять забывали.

И все равно кататься по Парку и ездить в Ричмонд было приятно — вокруг столько всего интересного, столько всяких людей; по всей видимости, уже в десять-двенадцать лет Эллен увлекалась изучением человеческой природы.

Она была развита не по годам, поскольку почти никогда не бывала в обществе других детей. Джордж, ее единственный брат и ее идол, рано уехал в пансион и теперь так был занят своими товарищами, лошадьми (он учился верховой езде) и разговорами о будущей военной карьере, что младшую сестру выслушивал с плохо скрытым нетерпением.

Эллен оказалась предоставлена самой себе. Спутниками ее стали книги и ноты — когда у матери хватало денег оплачивать уроки музыки. Дочь должна понимать, внушила ей мама, что, если жить в такой элегантной обстановке, с таким столом, да еще держать выезд, на всякие глупости, вроде уроков музыки и итальянского, ничего не остается.

— Хотя посмотрим, может, удастся это устроить, — говорила мама туманно, помахивая рукой, и улыбалась своей изумительной улыбкой, которая красноречиво свидетельствовала о том, что мысли ее заняты чем-то другим;

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

потом она дергала колокольчик, призывая служанку, чтобы обсудить меню вечернего приема.

Какое это было великолепие — какое изобилие фруктов, сладостей и вина, какое сверкание посуды на столе, какие белоснежные накрахмаленные скатерти и салфетки! Казалось бы, можно и не тратить фунт-другой на лишнюю ветку винограда, глядишь, и на педагогов хватило бы. Но такова уж детская природа: Эллен воспринимала сложившийся порядок вещей как данность и под конец дня вслушивалась, сидя одна в своей комнате, в шум празднества внизу, в особый, какой-то попугайский звук, визгливый и надсадный, — так искажаются человеческие голоса, когда собираются вместе мужчины и женщины.

Таков был ее дом, и она была им довольна, потому что не знала иного, потому что этот показной блеск был вокруг всегда, сколько она могла упомянуть. Сезон-другой в Веймуте и Брайтоне, потом Лондон — Парк-лейн, Глостер-плейс, Бедфорд-плейс, Вестбүрн-плейс, череда особняков, один, другой, третий; блеск, развлечения, все напоказ. Мать то и дело появлялась с новым кольцом на безымянном пальце, довольная, как котенок, нашедший клубок, смеялась через плечо одетому в алый мундир офицеру со щенячьим лицом, который шел за ней следом, а его неповоротливый ум то и дело спотыкался, пытаясь угнаться за ее стремительной мыслью.

— Это моя дочурка, капитан Веннинг, моя маленькая Эллен, вон она какая серьезная и скромная, не то что ее ветренница-матушка!

Трель смеха — и мать уходила в гостиную, но прежде успевала подать дочке глазами сигнал, что та может бежать к себе наверх. Эллен, поджав губы, тихо поднималась по лестнице, ловила свое отражение в высоком зеркале и чуть медлила, разглядывая его и пытаясь осмыслить материнские слова.

Она силилась понять, действительно ли это так важно, что ты родилась некрасивой. Абрис ее лица был худым и угловатым, ничего похожего на круглые щеки и мягкий

БЕРЕГА. РОМАН О СЕМЕЙСТВЕ ДЮМОРЬЕ

подбородок матери. Ее собственный подбородок заметно выпирал, а крупный нос нависал над узкими губами, добавляя к серьезности суровость, — вот уж воистину немецкий щелкунчик, говорила про себя девочка; она проводила пальцами по высокой переносице, думая про очаровательный вздернутый носик — одну из самых привлекательных материнских черт. Волосы и глаза у них были одного цвета, мягкого, теплого, шоколадного, — но на этом сходство и заканчивалось; у девочки глаза были глубоко посаженные, тусклые, а курчавые волосы никак не хотели укладываться в локоны.

У матери же глаза менялись со сменой настроения. То они сверкали радостью, яркие и ясные, будто повернутый к свету ограненный кусочек янтаря, то затуманивались и увлажнялись и тогда делались еще привлекательнее, становясь очаровательно-незрячими, какие бывают только у близоруких.

Волосы ее, уложенные по последней моде, мягкими звонкими обрамляли лоб: уши открыты, колонноподобная шея обнажена, белая, несокрытая, мягко переходящая в великолепные плечи. Рука Эллен скользнула от носа к бледным впалым щекам, а оттуда на ее собственные узкие сутулые плечи — настолько сутулые, что однажды служанка под горячую руку обозвала ее горбуньей. Девочка запомнила это, и сейчас воспоминание некстати мелькнуло в голове. Но она, передернув этими самыми непрезентабельными плечами, отвернулась от зеркала и пошла к себе в комнату; снизу, из гостиной, долетела стремительная, напористая речь ее матери...

Дни эти миновали. Уже почти год не было в доме никаких приемов. Не появлялись офицеры в ослепительных мундирах; даже лорд Фолкстон перебрался за границу, и, разумеется, его королевское высочество, который так часто бывал у них на Парк-лейн, тоже не показывался — уже года четыре. Эллен его почти забыла. В дом зачастали люди иного толка — торговцы; она сразу узнавала их: все одеты в черное, будто на воскресную службу, и когда мама

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

отказывалась их принять, они грубо рявкали на слугу, будто в том была его вина.

Однажды у входной двери их собралась целая толпа, они протолкались внутрь и заставили маму впустить их к себе. У нее они пробыли недолго. Мама молча, словно бы недоверчиво покачивая головой, выслушала все их претензии, дала им выговориться, а потом, когда главный заводила, обойщик с Лэм-стрит (из дома неподалеку), наконец перевел дух, полагая, что она стала как шелковая, вылила на них ушат отборной площадной браны, весьма изобретательно подбирая слова; это привело обойщика и его спутников в такое смятение, что ответить им оказалось нечем.

Они таращились на нее, открыв рот, и еще до того, как опомнились, она царственным жестом велела им удалиться и осталась победителем на поле браны — с пылающими щеками и блеском в глазах.

После этого потянулись долгие дни и недели неопределенности; мамы почти никогда не было дома, а если она и появлялась, времени на Эллен у нее не находилось; она ограничивалась торопливым объятием и словами: «Беги к слугам, дочурка; у меня ни минутки свободной» — и тут же запиралась с каким-нибудь странным посетителем; они часами беседовали в будуаре, тихий ручеек их голосов все журчал и журчал. В доме воцарилась тягостная атмосфера, которая ребенку, привыкшему к размеренному течению жизни, казалась зловещей и тревожной; девочке очень хотелось, чтобы ей все объяснили, но объяснений никто не давал. Если она забредала в кухню, слуги при ее приближении немедленно умолкали, а глупый лакей хихикал исподтишка, засовывая в карман штанов какую-то книжонку. Джордж на пасхальные каникулы остался в школе, домой не приехал. Эллен написала ему письмо, но ответа не получила. Девочку мучили страхи — вдруг брат заболел, вдруг они больше никогда не увидятся. Мать в ответ на ее настойчивые расспросы отвечала

БЕРЕГА. РОМАН О СЕМЕЙСТВЕ ДЮМОРЬЕ

неопределенностями. Однажды утром, уже собираясь уходить, она увидела, что Эллен нависла над ней будто тень.

— Оставь это, дитя мое, — сказала она нетерпеливо, — не надо мне надоедать. Я тебе уже сто раз говорила, что с твоим братом все в порядке.

— Почему же он не приехал домой? — спросила Эллен и плотно сжала тонкие губы.

— Потому что сейчас ему лучше не приезжать, — последовал ответ.

— Но в чем причина всех этих перемен? Я уже достаточно взрослая, чтобы понять. Я не ребенок, не нужно утешать меня сказками. Слуги шушукаются по углам. На улице люди останавливаются и разглядывают наш дом. Вчера, когда я выглянула в окно, какие-то мальчишки бросили в меня камень. Вон, сама видишь, там рама треснула. Почему, когда я пошла погулять на площадь, меня преследовали, на меня показывали пальцами, точно на обезьяну в клетке, почему какой-то незнакомый джентльмен подмигнул своему приятелю, остановил меня на ступенях и сказал: «Так кто ваш отец, барышня, мусорщик или министр?»

В ее словах была неподдельная страсть — глаза сверкали, личико побледнело и напряглось.

Мать взглянула на нее в нерешительности — рука игривала лайковой перчаткой; вопросы, заданные двенадцатилетней девочкой, на миг лишили ее самообладания.

— Послушай, Эллен, — сказала она торопливо, — у твоей мамы есть враги; почему именно — не важно. Эти люди хотят, чтобы нас, как собак, вышвырнули на улицу без единого пенни. Им угодно, чтобы я приползла к ним вымаливать кусок хлеба, чтобы я скатилась в самый низ. Когда-то они не брезговали садиться за мой стол, но теперь дело другое. Мне придется сражаться с ними за наше будущее — твое, мое и Джорджа. У меня нет ни друзей, ни денег. Осталась одна смекалка. Она и раньше меня выручала, выручит и на сей раз. Что бы ни было дальше, сколько бы меня ни поливали грязью, запомни одно: я все

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

это делаю ради тебя, ради вас с Джорджем, а прочие все
пусть катятся в преисподнюю!

Она помедлила и вроде бы хотела добавить еще что-то; но, передумав, положила палец девочке на щеку, улыбнулась мимолетной улыбкой и исчезла, оставив в комнате легкий шлейф духов, который был ее неотъемлемой частью. На паркете валялся разорванный надвое листок бумаги. Видимо, она случайно его обронила. Эллен нагнулась поднять листок и положить в корзину для мусора. Она увидела, что это пасквиль — вульгарный, неряшливый; видимо, листками приторговывал какой-то газетчик. Мать разорвала его пополам, но Эллен смогла прочитать четыре последние строки, скалившиеся на нее в гнусной ухмылке:

Я миссис Кларк хотел воспеть в стихах,
Но сбились рифмы — будет впредь наука!
И перепутал я слова впопыхах,
Переменив местами «Кларк» и «сука».

Девочка отшвырнула листок, чтобы не смотреть на эту мерзость, стремительно шагнула к двери, но увидела там лакея, его глупую, пустую физиономию, вернулась обратно, встала у корзины с бумажным мусором на колени, вытащила оттуда все содержимое и принялась рвать на мелкие клочки.

Целый год минул с тех пор, как Эллен Кларк обнаружила пасквиль, порочивший ее мать. За истекшие двенадцать месяцев в руки ей попали и другие. Старые выпуски «Газетт», которые оставляли раскрытыми слуги, четким черным шрифтом раскрывали перед ней доселе неведомые тайны. Любящая и чуткая, она, наверное, бросилась бы защищать свою маму от мира, который поливал ее грязью, но она была всего лишь ребенком, беспомощным и смешным в своем порыве, запертym на верхнем этаже дома, будто птичка в клетке. Разразился громкий судебный процесс — так она поняла, — где мать ее выступала главным свидетелем обвинения против его королевского высочества герцога Йоркского, который еще несколько лет назад был их самым задушевным другом. В чем именно его обвиняли, Эллен не знала, однако после суда от матери все отвернулись. Доходя до ее ушей, непристойные сплетни оборачивались ядом. Ей было всего двенадцать лет, а она уже успела узнать обо всех низостях и подлостях мира. А кроме того, к ней постепенно пришло понимание, как они жили до того.

Намеки, случайные слова, памфлет, просунутый под дверь, бормотание служанок за ширмой, цепочки собственных ее отрывочных воспоминаний, уходящих в самое младенчество, складывались в целое, от которого не отмахнешься. Она вспомнила, что они никогда не жили подолгу в одном доме, что круг материнских друзей неизменно менялся со сменой жилья. В памяти всплывали обрывки полуза забытых сцен. Она видела себя младенцем, едва научившимся ходить, а рядом — Джорджа, несколь-

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

кими годами старше: как они вглядываются через решетку в грязь на мостовой Фласк-уок в Хампстеде, как уезжают оттуда прямо посреди ночи в Уортинг, в гости к сэру Чарльзу Милнеру, и сэр Чарльз дарит Джорджу щенка-спаниеля, а ей — фарфоровую куколку. Потом несколько пробелов в памяти, сэр Чарльз забыт, и вот они уже живут в огромном доме на Тависток-плейс, и к ним каждый день наведывается джентльмен по имени дядя Гарри. Однажды мама, судя по всему, с ним повздорила, потому что Эллен услышала, как он кричит на нее в гостиной; заглянув в дверную щель, девочка увидела маму, милую, безмятежную, — она слушала, подперев подбородок рукой, и зевала ему прямо в лицо, будто бы от скуки.

С Тависток-плейс они съехали неделю спустя и провели все лето в Брайтоне, где Эллен и Джордж катались в повозке, запряженной двумя серыми пони. Следующую зиму они прожили в прекрасном доме на Парк-лейн, мама по четыре раза в неделю устраивала званые ужины. Эллен помнила, как за руку с Джорджем спускалась в гостиную и заставала там его высочество — он стоял на ковре перед камином. Ей он тогда казался великаном — огромное багрово-красное лицо, глаза навыкате; он наклонялся и забрасывал их себе на плечи.

— Итак, ты собираешься стать военным, да? — сказал он как-то Джорджу, потянув его за ухо. — Поедешь во Францию воевать с Бони?¹ Что ж, быть тебе военным!

Он расхохотался, повернувшись к маме, вытащил огромный носовой платок и соорудил для Эллен зайца с ушами.

В последующие три года его высочество наведывался к ним ежевечерне (когда был в городе), он лично выбрал для Джорджа школу и купил ему еще одного пони. Закрыв глаза, Эллен представляла его себе как живого — как он вышагивает по дому, трубно призывая ее мать, покачивая выпуклым животом, большим и указательным

¹ Презрительное прозвище Наполеона Бонапарта.

БЕРЕГА. РОМАН О СЕМЕЙСТВЕ ДЮМОРЬЕ

пальцем засовывая табак в левую ноздрю крупного носа. И вот герцог впал в немилость — потому что мать Эллен выступила против него на суде.

— Все, что я делаю, я делаю ради вас с Джорджем, — сказала она как-то.

Чувствуя укол стыда за такое отношение к собственной матери, Эллен гадала: а есть ли хоть один человек, который действительно ее знает и может понять, что скрыто в этих переменчивых карих глазах? В ноябре того же года уличные мальчишки сожгли ее чучело вместо чучела Гая Фокса¹. Через окно спальни Эллен было слышно, как они распеваются на углу улицы:

Мэри-Энн посветит мне,
Жарим шлюшку на огне!

Потом они еще долго бегали в ночном тумане с пылающими факелами и таскали туда-сюда крупную брюкву в кружевном чепце с розовой лентой, криво посаженную на палку.

И вот опять настала весна, скверные воспоминания вроде бы остались в прошлом, но былое течение жизни оказалось нарушено, возврата к прежнему никто и не мыслил. Прижавшись носом к стеклу, Эллен смотрела, как к дверям подъезжает карета и из нее выходят мама и мамин друг лорд Чичестер. Видимо, они приехали проследить, как идет продажа мебели. Девочке ужасно захотелось осмотреть, как поведет себя мать. Она снова прокраилась вниз, в парадные комнаты, и обнаружила, что назойливые незнакомцы куда-то исчезли, полы и стены оголились, а в центре опустевшей комнаты стоят ее мама и лорд Чичестер, обсуждая цены с кислолицым клерком.

¹ В ночь на 5 ноября в Великобритании празднуют годовщину пропала Порохового заговора 1605 г. — попытки католиков-заговорщиков устроить взрыв в здании парламента во время тронной речи короля Якова I. В эту ночь по всей стране устраивают фейерверки и костры, на которых сжигают чучело самого известного из заговорщиков — английского дворянина Гая Фокса.

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

— Сто четыре гинеи за гарнитур из гостиной! — воскликнула мама. — Да вы послушайте, эти стулья стоили пятьдесят фунтов каждый!

— Да, но вы же за них не платили, — сухо вставил его светлость.

— Это к делу не относится. Софа из моего будуара — сорок девять гиней... Возмутительно, им все достается по дешевке! Я за эту софу каких-нибудь четыре года назад отдала девяносто, а теперь они швыряют мне в лицо все-го полсотни!

— Достойная цена за вещь в таком состоянии, мадам, — вмешался клерк. — Обшивка изношена и вся в пятнах, на ножке трещина.

— Да уж, софа потрудилась на совесть, — пробормотал лорд Чичестер.

Она посмотрела на него, подперев щеку языком; ресницы подрагивали.

— За такие труды покупатель мог бы дать двойную цену, — сказала она. — Бокал вина, немного воображения, полуслышком в комнате... Милый мой Чичестер, вот вы бы сами и купили эту софу! Она могла бы разжечь пламя, которое нынче в вас почти угасло.

— Мы все не молодеем, Мэри-Энн.

— Вот именно. Поэтому софа бы вам весьма пригодилась. Сто восемнадцать гиней за мои бокалы. Неплохо. Лучшие я все равно оставила себе. Пятьдесят фунтов за часы с серебряными колокольчиками! Как часто они возвращали меня к реальности — вот только всякий раз слишком поздно! Их мне как раз не жалко; своим боем они вечно лезли не в свое дело. Пять гиней за миниатюрный портрет герцога! Пять жалких монет, большего он и не стоит... Так, Эллен, а что это ты делаешь у дверей? Этот ребенок с каждым днем все больше становится похож на гнома.

— Сколько тебе лет, Эллен? — спросил лорд Чичестер.

— И восьми нет, — ответила мать.

— Двенадцать с половиной, — ответила девочка.

БЕРЕГА. РОМАН О СЕМЕЙСТВЕ ДЮМОРЬЕ

Его светлость рассмеялся.

— Собственную дочь не одурачишь, Мэри-Энн, — сказал он, вспоминая выражения, которыми она пользовалась на суде. «Мои крошки, — твердила она, — моя дочурка, едва вышедшая из колыбели...» Он вновь увидел жалостное подрагивание ее губ, слезы на ресницах, движение прелестных плеч, выражавшее полную беспомощность. Какой замечательной актрисой была эта женщина и сколь начисто она была лишена порядочности! За деньги готова продать лучшего друга, да и собственную душу тоже; а вот детей не бросила. Впрочем, и лисица не бросит своих детенышней в норе... Будущее мальчика обеспечено — об этом она позаботилась; плату за его обучение будут исправно вносить, должность в пехотном полку оплачена наперед. Что касается девочки, после смерти матери она будет получать ежегодную ренту. Лорд Чичестер подумал, как она ею распорядится: с такими угловатыми чертами и сутулой спиной вряд ли она сможет пойти по стопам Мэри-Энн. Нет в ней пока никакого обаяния, нет материнской природной миловидности — бесстыдной, дразнящей, особенно притягательной в силу дурного воспитания.

Впрочем, Мэри-Энн, в своем дерзком бесстыдстве, с ее отношением к жизни как уличного мальчишки, мошенника и проходи, совсем неплохо устроилась после расставания с герцогом, хотя и прикидывается нищей. Уж Фолкстон о ней позаботился. Да в придачу выплатил ее долги. В этом, кстати, и состояла главная ее беда: деньги так и утекали сквозь пальцы. Придется ей подсократить расходы, если она рассчитывает прожить на герцогские отступные. Для нее тысяча фунтов — ничтожная сумма.

Он прошел вслед за нею в опустошенный будуар — на стенах темные пятна в тех местах, где висели картины. Комната выглядела угрюмой, неприбранной; коробки, в которые она начала упаковывать вещи, штабелями стояли на полу. На одноногой табуретке притулился ларчик с драгоценностями, наполовину прикрытый вышитой шалью,